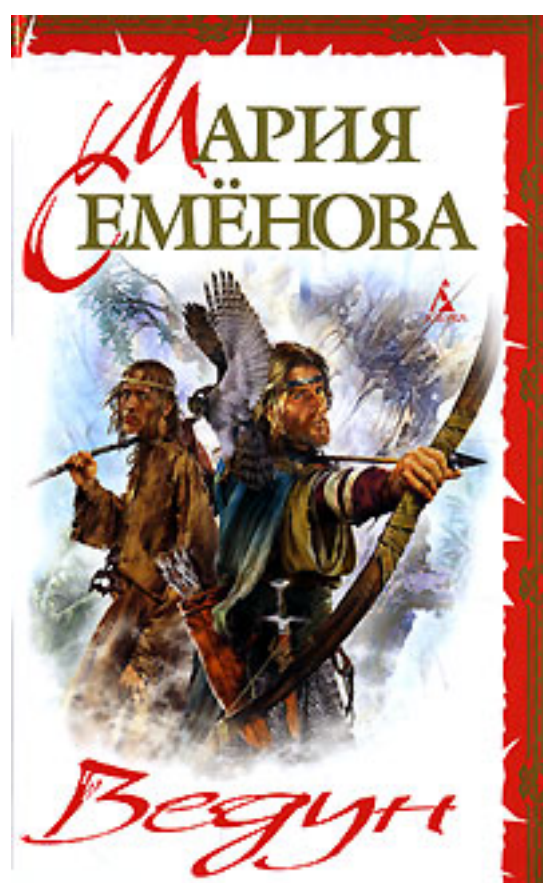




Мария Васильевна Семенова
Лебеди улетают

*Текст предоставлен издательством «Азбука»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=166306
Ведун: Азбука; Санкт-Петербург; 2007
ISBN 978-5-91181-616-2*

Содержание

1	4
2	6
3	8
4	10
5	12
6	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Мария Семенова

Лебеди улетают

1

И что бы не стоять бабьему лету, тёплому да погожему? Ревун месяц на свете! Ан нет. Отколь ни возмись, напозла ещё с вечера уже вовсе зимняя туча да и завалила всё вокруг снегом: и корабли на реке, и серую деревянную крепость над кручей, и площадь-торжище на берегу... Мы все сидели в ряд на длинном бревне, прижимаясь друг к другу, и стылый ветер пузырил на нас рубахи. Порой этот ветер доносил откуда-то с севера глубокий ухающий гром. Я не знал наверняка, но можно было смекнуть: это ревело, ворочаясь в каменных берегах, великое Нево-море...

Не та беда, что во двор вошла, а та беда, что со двора-то нейдёт.

Город над нами, на берегу, звался – Ладога. Имя славное, кто же его не слышал. Но на город я не смотрел. Смотрел вниз, себе под ноги. Снег нехотя таял под босыми закованными ступнями. А руки у меня были связаны за спиной, и конец верёвки намотан на колышек, вбитый в бревно с той стороны. Олав-хозяин ведал, что творил! Ослабни верёвка – лесным котом прыгнул бы я на него и умер, а до горла добрался. Да ведь и было уже так. И не один раз. И всё без толку. А ещё было – сбегал я от Олава. Дважды! И дважды ловили меня и били так, что отлёживался сутками. Где отлёживался? А под палубой корабельной, на ребрастых мокрых досках, вот где!

В славном городе Ладоге Олав хотел продать меня на торгу. Таких, как я, строптивых, незачем возить далеко, за норовистого нигде не возьмёшь хорошей цены, ни за морем, ни здесь. А сгорело бы оно огнём, то заморье, земля та Урманская, где Олав мой на свет родился!.. Он тут, рядом прохаживался. И одет был нашего потеплей: куртка на меху, штаны кожаные – удобно в таких на корабельной скамье. Тёплый серый плащ за спиной подпиралаи ножны меча.

Небось, отец мой без оружия к нему вышел, корабль у берега увидав! С белым, мирным щитом корабль!..

А подле меня молодой мерянин сидел, Шаев. На четыре лета меня постарше, к сестрёнке присватывался, свадьбу думали вскоре играть. В тот день в гостях у нас был – жених счастливый. А ни дома теперь, ни свадьбы, ни сестрицы милой Потворы!..

У Олава под палубой я бы без него пропал. Вот и нынче он как брата меня обнимал, старался от ветра прикрыть.

– Развяжи руки, Шаев, – сказал я ему тихо. Мерянин так же тихо ответил:

– Не развяжу. Убьёт он тебя сразу.

Олав на нас покосился, прохаживаясь. И его, зная, сиверко донимал. Впрочем, я видел, как он в такую же непогодь грёб против волны, и весло гнулось в руках.

Другие его люди давно растеклись по шумному торгу. Продавали, покупали кто что. И пироги, и секиры. А говорили вокруг на ста языках и все всех понимали: урмане, словене, свеи, меряне, корелы-ливвики, корелы-людики, ижоры, булгары. И варяги, те, что у князя в крепости жили.

А сгорел бы ты, славный город Ладога, и гости эти богатые с тобой заодно!..

Так вот я сидел-мёрз на проклятом бревне, когда к нашему урманину подошёл другой. Те, которых я видел допрежь, были всё беленькие – и Олав, и товарищи его. Беленькие да рыжие. Этот уродился чёрен ворон что усом, что волосом, да ещё в бороде, как в саже, мало не по глаза. Только виски белые. И глаза – светлые, суровой северной синевы.

Теперь он, может, показался бы мне красивым. Дажьбог весть. Тогда – лютая ненависть за меня на него глядела. Он ведь ещё и заговорил с Олавом моим, и дружески заговорил, и я за одно за это ему бы шею свернул... Я по-северному тогда уже хорошо разумел, понял, о чём у них речь шла. Не видал ли ты, друг, спросил тот чёрный, там где-нибудь славных молодцов на таком-то и таком-то корабле? Как же, видал, отвечал ему мой Олав. Далеко. В Кёнугарде! Те люди вроде неплохо там торговали, а потому, может, и ныне ещё назад не собрались...

Чёрный кивнул ему; поблагодарил. Потом скользнул синим глазом по нам, на бревне сидевшим. Плохо ты, Олав Хрутссон, одеваешь рабов, сказал он хозяину. Простынут же.

Олав тоже на нас поглядел и только в бороду хмыкнул. А ты купи кого-нибудь и одень, как тебе нравится, Гуннар Сварт. Тебе небось проще будет одеть одного, чем мне девяти.

Но Гуннару Сварту, Чёрному то есть, рабы, видать, были не нужны. Засмеялся, закашлялся, провёл рукой по губам и для чего-то посмотрел на ладонь. Запахнул на груди плащ да и пошёл себе прочь. Я посмотрел ему в спину и отвернулся. Откуда же я мог знать, что буду помнить его долго. Дольше, чем Олава, и дом и двор наш разорившего!

...А пуще голода ел нутро страх – вдруг купят! Глуп был. Того не смыслил, что увёз бы меня Олав куда-нибудь за море Варяжское, и прости-прощай своя сторона, разве во сне еще тебя повидать!

– Вон того бы, Добрынюшка, – услышал я голосок. – Вон, с краю сидит...

Я как раз с краю сидел. Поднял глаза и увидел в десяти шагах парня и девку. Словене оба, словенская речь, не чужая какая. Кто такие, откуда ещё на мою голову нанесло?! Не брат с сестрой, слишком лицами несхожи. И не муж с женой, девка, она девка и есть, с косой и совсем не в женском уборе. Невеста с женихом? Она показывала меня своему Добрыне, и в проглянувшем солнце лучился-блестел на пальце стеклянный перстенёк.

– Тощ больно, – сказал Добрыня. Сам-то он был парень на загляденье, такому Олав тощим покажется, не то что я, заморённый. Ростом в сажень и в плечах тоже сажень, руки что сковородки: посадит на такую да поднимет ещё повыше полатей... Девка и не подумала упрашивать да дуться. Прижалась ласково и стала на него смотреть, и у меня сердце зашлось, потому – увидал: тает мой добрый молодец прямо на глазах. Всё равно как тот снежок, сквозь который у моих ног уже торчала зелёная травка. А потом наклонился и шепнул ей на ушко, но я-то расслышал, тут и не захочешь, а всё равно услышишь вдесятеро лучше обычного:

– Моим зваться станет, а после нашим назовут, Найдёнушка.

Девка покраснела, толкнула его легонько, счастливая. Он же, Добрыня, пощупал у пояса кожаный кошель и указал на меня:

– Много ли, гость, просишь?

– Полмарки, – ответил мой Олав и поднял в руке весы.

– А недорого, – порадовался Добрыня и развязал кошель. – Что ж так? Не горбатого ведь продаёшь.

Олав-хозяин положил в чашку гранёные гири.

– Надо мне предупредить тебя, этот мальчишка дерзок и строптив, и не зря я его связал. А к чему он пригоден, это ты сам узнаешь лучше меня.

– Честно торгуешь, – похвалил Добрыня.

Они долго взвешивали серебро, резали пополам тонкие белые монеты. И Шаев всё шептал и шептал мне на ухо, а потом плечу моему стало мокро и горячо. Плакал Шаев, ходивший сам на медведя! И пускай тот кривит глупые губы, кто не сидел никогда на таком вот бревне! А и никому бы на нём не сидеть!..

...Вот так я, месяца не пробыв в плену, обрёл уже второго хозяина: Добрыню, ладожского усмаря.

2

Городу Ладоге, люди сказывали, тогда минул уже век. И был он богат и дивно велик: сто домов, а может, и поболее. И каких домов! Купцы строили их себе вдоль Мутной реки – длинные да широкие, хоть пляши в них под тёплыми земляными крышами, у клетей с товаром. А что не строить, когда мало не весь белый свет ездил через эти места! Торг шёл постоянно. Приехал – ищи соотчичей да поселяйся, и живи себе, пока не надоест. Купцы так и поступали. И кто вёз на продажу рабынь, селил их вместе с собой. Невольницы должны быть красивы, их не выставляют на злой ветер, не то что рабов-мужчин вроде Шаева или меня. Люто горевал я по матери и сестре, а тут посмотрел и порадовался, что в небо светлое их проводил, не в неволю!..

Дом Добрыни стоял неподалёку от крепости, на ближних выселках. Дом как дом и двор за забором как двор... За забором лаяли две пушистые остроухие собаки – Найдёна их окликнула, узнали, обрадовались, завертели хвостами. Добрыня отомкнул калитку, и я встал на дощатые мостки, проложенные к дому. После грязи со снегом они показались мне тёплыми.

Потом я огляделся вокруг и хмуро подумал – сбегу!.. Кажется, я даже собирался произнести это вслух, но тут Добрыня закрыл калитку и повернулся ко мне:

– Тебя как звать-то, малый?

Я огрызнулся:

– А никак!

Он спросил спокойно:

– За что в холопы продали?

– А ни за что!

Ждал – прибьёт, но он только усмехнулся:

– Так... значит, звать станем Молчаном.

В это время из дому выглянула на голоса высокая седая старуха. Прищурилась, увидела меня и даже руками всплеснула:

– Добрынюшка!.. Это кого же ты купил?..

У Найдёны-советчицы так и вспыхнули щёки, но Добрыня на неё и не покосился.

– Эх, бабка Доброгнева! – сказал он старухе. – Сто лет прожила, а справного молодца не отличишь. Да он, старая, не слабее меня будет.

Старуха плюнула в сердцах, махнула на него рукой: тебе, мол, семерых посади, всех как есть насмерть заврёшь. Тут-то Добрыня шагнул ко мне, закатывая рукава:

– А становись-ка...

Сам брови нахмурил, глаза же смеялись. Я видел. Я был едва не меньше его девки Найдёнки, смешно думать, что устою. Однако же не забоялся, озлился только. Я-то, семью страхами пуганный, такого насмотрелся, что тебе, ладожанину, в жизни не снилось! Да, силён во мне оставалось вправду немного, зато ярости – на десятерых. И храбрости, оттого что нечего было терять. Ужо вот, пощечочу за бока!..

Но тут Добрыня обхватил меня за плечи, и будто обручи надели железные, как на новый бочонок! Незлая, осторожная была сила, ласковая почти. Но такая, какой я отроду ещё ни в ком не встречал. И всего-то, верно, в четверть мочи сжал меня кожемяка, но мне и этого хватило: тотчас ощутил, как живой змеей дёрнулась в боку глубокая гнойная рана. Я ведь тоже не за так дался тем урманам, когда подступили вязать!.. Вот снова рвануло, аж замер в груди вздох. Враз поднялась перед глазами семицветная радуга, и я обмяк мешком. Услышал ещё, как закричала старуха:

– Задавил мальчонку, облом!..

Я хотел сказать ей, что не такой уж я мальчонка, и ещё, что не больно легко было меня задавить. Но только открывал и закрывал рот, на земле сидя, а слова наружу не шли. И волчки знай лаяли, рядом крутятся, норовили лизнуть в лицо. Утешали. А небось замаяхнись я на Добрыню – живого разорвали бы, лизуны...

А что было после того, я и совсем уже не помню.

Потом я лежал в углу под овчиной, и всё тело покалывало от тепла. И змея в боку утихла, придавленная повязкой. Старая Доброгнева хотела посмотреть мою рану, но отступилась: слаб, мол. И возилась себе у каменной печки, переставляла горшки.

– Пошёл помощника покупать, а кого привёл? – выговаривала она Добрыне. – Дождёшься от него работы, тут гляди, кабы сам ещё не помер! Встал бы нынче Бориславушка, молодшенький мой, да тебя, бестолкового, за ухо-то оттащал...

Добрыня – внук ей, что ли? – отозвался лениво из другого угла:

– Будет, бабка, нешто я в сопливых не ходил... Сказано тебе, молодец справный. Погоди, подкормится, оживёт.

Вот уж воистину пролитого не поднимешь! Олав меня назад к себе не возьмёт, да и где он теперь, Олав, уплыл уже поди...

Я ещё послушал ворчливую старуху и подумал, что это имя, или прозвище, ладно на ней сидело. Подумал так и уснул, сытый, в тепле... А сон всё равно увидел тот самый, от которого и так вскакивал взмокший всякую ночь.

Будто сошёлся я с Олавом треклятым в смертном единоборстве. И пригвоздил-таки его коленями к земле, зане дал мне Перун, ратный Бог, силу немислимую. Корчится урманин, все кости в нём трещат, а с груди скинуть не может. А я держу в руке нож, хороший нож, остро отточенный, у Олавовой загорелой шеи держу. И не пожалею, хоть он проси, хоть не проси. Отца моего, говорю, попомни, собака смердящая! И как он ворота перед вами, разбойниками, распахивал, обмана не ведая: заходите, мол, гости добрые, порадуите хозяина да хозяйку! И мать мою вспомни, которую ты мечом полоснул. И сестрёнку пригожую, что в избу горящую из рук твоих рванулась!.. Так говорю, а нож мой светлым-светел блестит, да не нож вроде уже, а меч!..

Вот ведь сон, и всё в нём по правде, кроме того только, что наяву я Олаву не отомстил.

3

На другое утро облака ещё летели лебедями по ветру, зато солнышко пригревало без скупости. Будто долг возвращало за холодный прошедший день. Добрыня отдал мне, босому, стоптанные поршни – свои старые. Оказались они мне в полтора раза велики, но я кое-как перетянул их по себе и ещё натолкал внутрь сена: ничего вышло, ходить можно. Даже бегать, но много тут набегаешь, если огнём горит бок и криком кричат со вчерашнего все жилки! Раба покупают, чтобы работал, меня же вправду только ветром ещё не качало, и Добрыня сжалился над непутёвым:

- Походи пока, осмотрись, а там к делу приставлю.
- Меня Твёрд звать, – сказал я ему. Он кивнул:
- А кой год пошёл, Твёрд?
- Семнадцатый, – покривил я душой. Добрыня только улыбнулся и сразу же угадал:
- Четырнадцать-то есть хоть?
- Есть...

Я вышел во двор, и волчки подбежали обнюхать, удостовериться, свой ли. Ишь любопытные, ушки на макушке... Дома у нас тоже был пёс, покрасивей этих и побольше. Он-то небось сразу учуял, что за лихо приплыло в гости на том корабле. Залаял, бросаться стал. Я ошейник на него надел... Сгинул ли от копья, от огня или выжил и плакал теперь над остывшими головнями?... Никогда я этого не узнаю.

Двор у Добрыни был широкий, просторный. Не то что в иных городах, где, сказывали, дома жались все вместе, выстраивались в тесные улицы, отгораживались друг от друга и от белого света крепкими частоколами. Боялись! Кто к полудню жил – чёрного степняка. Кто к полуночи – белоглазого разбойника вроде Олава моего... Здесь, в Ладоге, никого не пугали! Широко строились, вольно. Урмане, свеи, датчане сами бегали грозного ладожского князя, быстрых боевых лодий, страшного варяжского стяга! Ведали: под тем соколиным стягом ходила их смерть. Крут был князь Рюрик и на что уж суров, а терпели его ладожане, потому – городу за ним жилось, что за стеной. Вон она и стоит на самом высоком месте, серая деревянная крепость. Стоит себе, хмурится с неприступного откоса на реку, на корабли: не замай!

...И пошёл я оглядываться. А куда ещё идти в Ладоге, если опять-таки не на торг? Я и зашагал туда помаленьку, между домами. Был как пёс раненый, из последних сил ползущий и сам не ведающий, куда... Рабский торг я обошёл стороной и ходил туда-сюда, будто что потерял. Смотрел, чем торговали – не видел. Однако потом к оружейникам забрался и тут будто прозрел. Загляделся, залюбовался! И было чем. Купцу, да в пути дальнем, без оружия куда? Стояли тут широкие копья на хороших древках и крепкие луки в рост человека. Стрелы – аршинные, с тяжёлыми коваными головками, такая прошьёт и дальше полетит с прежним посвистом... Клёпаные шеломы и боевые ножи, что носят за сапогом. И ещё страшные мечи с длинными блестящими лезвиями, с черенами простыми и в узор: такими не замахиваются шутя, такими если уж рубятся, то насмерть...

Там-то, у мечей, заметил я рослого, широкоплечего малого в красивом сером плаще – стоял, приценивался к доброму клинку.

Олав!!

Вот когда сердце загрохотало рекой, вздыбившей лёд. Он разговаривал с оружейником и улыбался: обветренные загорелые скулы, голубые зоркие глаза и борода что спелая солома. Та борода, в которой ночью во сне утонул до рукояти мой нож...

Он вроде посмотрел в мою сторону, но то ли не пригляделся, то ли просто не узнал. Меня же как ударило. Я прыгнул вперёд! Двумя руками сцапал тот самый меч, который он себе выбирал – занёс его и что было мочи хватил Олава по голове!.. И ещё не выдернул меча вон, а уже звериным каким-то, нутряным знанием понял: убил. Кровь хлынула ему на грудь, залила у шеи серебряный оберег-молоточек. Не охранил!.. Олав не вскрикнул, застыл, будто громовой стрелой пригвождённый. Стал поднимать руки к лицу... не донёс. Начал падать, мне же привиделось – шагнул достать напоследок! Он крепкий был, могучий, с такого и не то ещё станет... Вот когда сделалось мне разом тошно и страшно! Как вертанулся я на пятке да как бросился от него наутёк!..

4

Летит над океаном-морем белая птица, летит к далёкому берегу и никогда ведь не ошибётся, а откуда знает, где берег-то? Дажьбог весть. Вот и я, как та птица. Куда побежал с окровавленным мечом в кулаке, ног не чуя, дороги не разбирая? Не в лес небось и не к Добрыне-хозяину. Полетел, всё равно что на крыльях, к серой крепости, на княжеский двор. А гнались за мной или не гнались, сам не знал. Не до того было – бежал!.. Видел перед собой лишь испуганные лица, как пятна какие. Кричали вроде, да разве я что слышал, такой гул бился в ушах! И как же медленно, нехотя будто, росли передо мной деревянные ворота... Незапертые: чего ради замыкаться среди бела дня, от кого? Не от своих же? Правду молвить, там стояли два отрока с копьями, но они меня не остановили. И только когда я вбежал уже во двор, кто-то подставил мне ногу, а может, копьё сунули черенком вперёд. Я и упал. Растянулся плашмя, рассёк щёку о край деревянных мостков. Ждал: тут схватят, но хватать меня не стали. Я и не пытался вскочить и лишь дышал, умирал будто, со стоном, со всхлипом. Думал – сердце выскочит или жила лопнет в груди. А и захоти я бежать, куда дальше-то? Некуда. Всё, достиг.

А когда я поднял наконец голову, надо мной стоял князь.

Я почему-то сразу понял, что это был князь. Хотя никакого такого убранства на нём не заметил, ни гривны на шее, ни крашеного плаща. Гривень вроде и гривень, а по одежде так и не из первых. А есть же что-то, без языка величает, без слова рассказывает: князь! Были у него длинные седые усы. И волосы, что зола, прикрывшая жар. И морщины, будто шрамы, от глаз по щекам. И глаза – точь-в-точь как у сокола того, что на знамени, над кораблями его летел. Рюрик, это ведь и значит по-варяжски – сокол такой. Самый яростный. Тот, что на ловле рвёт добычу в мелкие клочья, если вовремя не подоспеть...

А воины набежавшие стояли смиренно вокруг. Никто меня без княжеского слова тронуть не смел.

– Ну? – сказал он мне, и вроде бы даже с усмешкой. – Чего ещё натворил?

И так выговорил, будто я не с мечом в крови во двор к нему вомчался, а с голубемдохлым... Вот тут-то я, на локтях приподнявшись, рассказал ему всё. Всё без утайки, от того дня, когда подошёл с озера баский красно-белый корабль, и до дня нынешнего, когда увидел Олава на торгу. И скверно, поди, рассказал, да у кого в моей шкуре вышло бы ладно?.. Рюрик, впрочем, меня не перебивал. Когда же я кончил, приговорил так:

– Меч здесь положи. Ступай в дом...

А у меня и пальцы на рукояти словно окостенели, едва разомкнул. Тут меня взяли сзади за локти, подняли, повели. Я покосился: молодой ещё гривень, лицо широкое и вроде незлое, борода – венник рыжеватый...

– ...а не то убьют малого да и правильно сделают, – за моей спиной сказал кому-то князь. – Олав этот Хрутович мне ведом, муж нарочитый. А и парень сам прав, на Олаве родовичей его кровь...

На своём языке сказал, однако я понял. Речь варяжская со словенской что сёстры, это не с датчанином каким говорить.

– Повезло тебе, – проворчал над ухом бородатый. – Меня Жизномиром зовут, я Добрыне твоему шурин... буду шурин, когда с сестрой свадьбу сыграют.

Эту весть я проглотил не жуя. Еле понимал только то, что на расправу меня вроде не отдадут. А правду сказать, и не больно я этому радовался, хотя, конечно, не горевал. Я ведь думал о том только, чтобы с Олавом рассчитаться. А как дальше жить стану – холопом подневольным, без отца-матери, без родного угла – не помышлял! Задумаюсь ещё, всему своё

время... Жизномир меня провёл через гридницу, потом куда-то ещё, я толком и не заметил, вроде в избу дружинную. Толкнул в угол, к лавке, велел сидеть тихо, но сам тут же спросил:

– Чего скособочился?

Я рассказал нехотя, как был ранен стрелой. Он велел показать, обмял тело короткими сильными пальцами и присвистнул:

– Да у тебя весь наконечник там! Ложись – вынимать стану.

Дело худое, но не с воином спорить о ранах. Да и не хотелось мне с ним спорить, не хотелось совсем ничего говорить. Я лёг на лавку. Я не закричу.

– Ишь, гнили-то, – пробормотал Жизномир. Нашупал что-то и дёрнул, и всё моё тело вдруг стало похоже на надутый пузырь: тронешь, зазвенит, а уж лёгкое, только что само собой в воздухе не плывёт. А потом я вроде и поплыл куда-то над лавкой, над полом, над дымным очагом в полу... И даже когда Жизномир раскалил железный прут и прижёт, чтобы больше не гнило, я и это почувствовал словно бы издалека.

5

Кроме места в дружинном доме у князя, была у Жизномира и своя изба в Ладого, от Добрыниной не так далеко. Тот двор здесь стоял ещё когда Рюрик-князь у себя за морем сидел, в Старграде, в Вагрской земле. Прежде жили в доме Жизномировы дед и отец, а ныне и сам он – богатый хозяин. С челядью, домочадцами и сестрицей Найдёной.

Хотя сестрой она ему была только по имени: Некрасовичи оба. Это он мне рассказал, а мог бы я и сам смекнуть, прислушавшись получше: Найдёна. Как так? А вот как.

Мыслю, лихо должна прижать нужда человека, чтобы задумался человек тот о страшном: кинуть у чужих людей своё родное дитя. За себя могу сказать и скажу – никогда такого не сделаю. Моя мать ведь под меч бросилась, меня, раненого, прикрыла... Вот потому. Да только люди-то меж собой различаются, и в том числе – крепостью сердечной. И, видать, стало кому-то вовсе не вмоготу. Вот и подкинули Жизномирову отцу под калитку кроху в тряпице. Но не просто так подкинули: знали же, что накануне умерла у того новорождённая дочь. А Жизномир, взрослый парень, единственным был. Ещё рождались, да слабенькие всё, до первой зимы. Пустовато было в избе.

Стало быть, прижилась Найдёна, как деревце пересаженное. Сама даже долго не ведала о своём неродстве. А узнала, так не больно задумалась. Любили ведь, ровно свою! Девка и вытянулась: не сказать какая красавица, но собой ладненькая, лицом улыбочивая и нравом приветливая. И разумница – другую поискать. А уж пела! Заведут песню девки на посиделках в женской избе, а слышать её одну. Как соловья. Оттого и прозвали Словишей, Соловушкой то есть...

Парни заглядывались. И сама невеста хороша, и с Жизномиром, в дружину принятым, породниться нехудо. Она же с малых лет всё с Добрыней моим дружбу водила, ныне вот к зиме и замуж за него собралась. Правду молвить, Жизномир недолюбливал кожемяку и нелюбви своей не таил. Хотел, знать, для сестры жениха побогаче, да и служил Добрыня когда-то не Рюрику, а врагу его смертному, беглому князю Вадиму... Впрочем, неволить Найдёнку Жизномир не решался. Говорили люди, строго-настрого наказывал ему отец: сестру береги!

Долго или коротко я после Жизномирова лечения пролежал, толком не помню. Может, день, может, и больше. Однако потом всё же глаза раскрыл и поднялся. И вот что вокруг себя увидал: хоромину таких размеров, что весь Олавов корабль встал бы посередине. В полу – сразу несколько очагов для тепла, по стенам – лавки широченные, над лавками, по бревенчатым стенам – ковры дорогие и добрые меховые шкуры. И оружие повсюду. Щиты посечённые, мечи в ножнах и топоры в чехлах. Дружинный дом! Я ведь его допрежь-то как следует и не разглядел.

– Ты, малый, со двора далеко не гуляй, – сказал мне Жизномир. – А всего лучше, здесь посиди!

Он продолжал приглядывать за мной, и я был ему благодарен. В крепости жила тьматмущая всяких слуг и рабов: портомои, оружейники, конюхи, повара.

И помещались, понятное дело, не с гриднями в одной избе. Но Жизномир посоветовался обо мне с побратимами, и те согласились пока поддержать меня под своим крылом. Тоже понятно: здесь меня никаким урманам не взять. Потому и вон выходить заказали. Не того ради, сказал мне Жизномир, князь тебя заслонил, чтобы собственное недоумие тебя погубило. Да я и сам не шёл никуда, лежал почти что пластом.

Урмане в тот же день при мечях во двор приходили, требовали меня выдать. Сказывали – весь торг видел, куда побежал! Князь и не отпирался. Дал им виру за Олава, как

Правда велела. Сорок гривен!.. Я такой силы серебряной враз-то, поди, никогда и не видал. Это же какую пропасть добра всякого скопом можно купить!.. Но им, урманам, до Правды нашей дела не было. Свою соблюдали. Виры не пожелали: хотели моей головы. Нам, молвили, своей кровью торговать непривычно. Мы своих убитых не в кошельках на поясе носим. А ныне не простого ватажника хороним: хёвдинга-вождя! И громко, гордо так говорили. Однако князь упёрся. Почему? По нынешний день не знаю. Неужто пожалел?.. Так сказал тем урманам: виру берите или не берите, ваша забота. А парня не отдам.

Те поскрипели, поскрипели... С князем поспоришь! Его, Рюрика, когда ещё всё море Варяжское страшилось. Да и ныне силой не оскудел, и не одной силой, но и словом разумным. Невелика, сказал, похвальба прирезать холопа. Больше чести с меня, конунга-князя, виру истребовать... Уговорил ведь – отступились. Унесли на лодью серебро. Князь ещё и на пир их позвал, чтобы не держали обиды. А что ему зря их обижать, они перед ним ни в чём не были виновны. Сельцо-то наше не к Ладоге тянуло, наши топор да соха не в Рюриковы земли ходили...

Всякой живой душе необходима приязнь, без неё с волком побратаешься. Жизномир меня от себя не гнал, я к нему и привязался. Вечерами дружина собиралась вся вместе в светлой гриднице, садилась за столы, и я служил Жизномиру, как старшему младший. Служил в охотку: его здесь уважали, в глаза говорили, что смелый и драться горазд один на один. Так и величали – хоробр. А хоробру прислуживать не стыд! И ему, и иным княжьим мужам. То и дело хромал я от одного к другому когда с блюдом, когда с рогом наполненным, когда с корчагой... Могучие воины не покрикивали на меня, не попрекали хлебом-солью. Сами в плен попадали и из плена бегали. Я знал.

...Этот пир я в щёлочку смотрел: незачем мне было мозолить глаза Олавовым товарищам. Рослые урмане сидели сперва хмуро, потом опрокинули по рогу, стали шутить. Под конец, когда гусельщики заиграли, веселились уже от души. И веселился с ними князь. А я сидел у своей щёлки, смотрел на них неотрывно и по временам удивлялся: да полно, со мной ли это всё?..

На другой день их лодья подняла парус, и Добрыня пришёл за мной на княжеский двор. Господии Рюрик сам отдал ему тот меч:

– Прибереги, пока из холопства не выберется...

Добрыня на него посмотрел, и он усмехнулся углом рта:

– Этот будет свободным, не нынче, так потом.

– Поглядим, – ответил Добрыня. Я завернул меч в дерюжку, и пошли мы с ним за ворота.

– Изрядного мужа ты свалил, – сказал он мне, пока шли. – Урмане богатую тризну по нём справили... Восьмерых рабов в могилу зарыли, тех, что он с тобой тогда продавал.

6

Если бы не успел Олав треклятый продать меня на торгу, если бы просто ускочил я из пут, да зарубил его, да притек на княжеский двор – был бы ныне свободен. Пленник, пока не продали его, не раб. Так Правда велела. Или хоть случилась бы продажа та без сторонних людей! Если бы хоть сам я не видал, как взвешивали за меня серебро!.. Что впусте мечтать. Был я теперь Добрынин с головы и до пят, полный холоп. И ни люди мне против него не заступники, ни Правда сама. Вот ведь как: и есть я, и вроде бы меня нет. Напакостит раб, так и тут спрос не с него, с господина. Ему отвечать, ему виру платить, если вдруг что. Но зато и он в моей голове волен, и никто ему не указ...

Двор у Добрыни был широкий и дом не маленький. А будто нежилой: бабка ветхая да внук-одинец, разве семья? Я потом узнал, было у старой Доброгневы двое крепких сыновей и невестки при них. И, не считая Добрыни, четверо внуков. Всех унесла злая ратная нужда, всех в один день!.. Солоно насолила судьба: не поделили меж собой город Ладогу два отчаянных князя, пришлый Рюрик и свой Вадим. Князья ругаются, а у простых людей головы трещат! Вадим, как сказывали, зол был в поле хоробрствовать, не в море, Рюрик же наоборот. Потому-то они на одном столе сперва мирно сидели. Согласие друг с другом нескоро утратили. Зато потом рассорились крепко. И сама Ладога с ними надвое разделилась. Надумал Вадим прочь уходить, и половина войска с ним отбежала. А в половине той – внуки бабкины и сыновья.

Горюшко!.. Невестки ненадолго пережили сынов и мужей: тоска горькая точит хуже болезни. Сама старая покрепче их вышла. Дождалась, пока другие пленники в Ладогу возвратились и внука Добрыню на руках с собою принесли. Князь Рюрик их всех тогда без выкупа домой отпустил. Не по доброте. Просто иначе город вконец людьми оскудел бы...

Внука своего Доброгнева едва выходила. Подняла прямо со смертных саней, и не поверишь теперь, что умирал. А сколько собственной жизни на это положила – Дажьбог весть.

А во дворе у Добрыни стояли под навесом большие чаны. Четырёхугольные, сбитые из толстых колотых плах, плотные, что добрые бочки. В первом чане известь да зола отъедали от шкур волос и жир. Во втором – уже отскобленные кожи вымачивались в квасе, а когда в киселе. В третьем – подолгу томились пересыпанные дубовым да ивовым корьём, приучались быть крепкими, прочными, не бояться воды! А ещё – мять, маслить, резать, шить, раскрашивать, околачивать!

Добрыня, как пристало, начал вразумлять меня делу. Поручал пока скрести шкуры после зольника, и я справлялся с этим вроде неплохо. И не то чтобы я так уж старался ему угодить: просто не приучен был, взявшись за дело, совершать его вполсилы. И ещё – не рабом родился и не рабом хотел умереть.

Кто запретит усердному кожемяке купить шкурку-другую? Или содрать со зверя в лесу? Никто не запретит. А там наделать славных вырезных башмачков – да и продать? А там, глядишь, поднакоплю серебра-то и ударюсь хозяину в ноги. Кто бабке не внук! Выкупались другие люди, и я выкуплюсь, дай только срок. Выкуп в полмарки отчего не собрать – на том Олаву проклятому спасибо, хоть плату взял невеликую, и люди то видели.

И куда же тогда? Мысль людская быстро бежит, быстрее, чем серебро в кошель. А вот куда пойду: в отроки к Рюрику-князю. Возьму тот меч и приду, и он не выгонит меня со двора. В это я верил... А куда ещё-то?

Никогда кожемяка не сидит праздно. Приходит осень – забивают скот и волокут усмарю во двор шкуру за шкурой. Дело кипит! Знай поворачивайся – скобли, квась, разминай... не поспишь! А чуть утрёшь пот со лба, глядь, люд во двор идёт по-прежнему: кому ножны, кому туло-колчан, кому сапожки, а кому – мячик забавный сынишке на игру...

Нынче Добрыня разминал, выравнивал деревяшкой уже отмоченные кожи, и я видел, какая это была работа. От подобной работы руки и плечи сперва трещат и жалуются в голос, зато потом наливаются твёрдым железом! Могучий Добрыня даже на холоду трудился без рубахи, лило с него в семь ручьёв. Когда-нибудь и я буду работать подле него. Вровень с ним. Как он!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.